

ПРИТЧИ ЧИТАТЕЛЮ ПЕРВОЙ КНИГИ

**Если мудрое слово услышит разумный,
то он похвалит его и приложит к себе.**

Книга премудрости Иисуса сына Сирахова
21:18

**Не думаете ли еще, что мы только
оправдываемся перед вами?**

Второе послание Павла к Коринфянам
12:19

Приходилось ли нашему читателю хоть раз заблудиться в лесу? В какой момент ты, читатель, почувствовал, что действительно заблудился? Наверное тогда, когда, думая выбраться на правильную дорогу, или даже полагая, что ты уже на этой правильной дороге, ты внезапно обнаруживал, что вновь вышел к месту, где уже был прежде. Во всяком случае такой оборот событий — первейший признак, что ты заблудился. Если к этому моменту ты не слишком устал, то вряд ли стоило отчаиваться. И ты продолжил поиски верного пути. Только на этот раз ты уже знал, что его еще предстоит найти. А приходилось ли читателю второй раз вернуться на то же самое место? А третий?

Положение того, кто заблудился в духовных поисках, весьма напоминает историю в лесу. Напоминает настолько, что для подобной ситуации никто даже и не придумывал иного слова. Заблуждение. Оно может быть и по плоти, и по духу. Разница только в том, что в лесу заблудиться случалось не каждому, но каждому приходилось заблуждаться в духовных поисках, конечно, если это действительно были поиски, а не слепое повиновение поводырю, тоже, быть может, слепому. А *как* обойтись без поводыря?!

И вот человек обратился к философии, к религии. Человек обратился к Закону, к Учению. Но оказывается, что они — не поводырь. Они только зашифрованная карта, дающая надежду выбраться на волю. В лучшем случае они задают начальное направление поисков, и с этого направления еще надо не сбиться. Далеко не все оказывается в Законе понятным. И человек пытается воспользоваться опытом живших до него мудрецов, для того чтобы найти-таки смысл жизни и получить ответ на вопрос, что же ему самому надо делать, чтобы искомый смысл осуществить.

Мы не говорим здесь о толпах фарисеев из иудеев старых и иудеев новых — христиан, которые ищут спасения в бездумном соблюдении Закона. Мы не случайно упомянули тех и других рядом. Ведь при соблюдении только буквы теряется различие между теми, кто считает Иисуса Христа самозванцем, и теми, кто все зовет Его Господом, лжесвидетельствуя о Духе Святом (ср. 1 Кор 12:3). Различие сие просто тонет в бессмыслии, хотя бы это и было бессмыслие буквально понятого Закона, о котором мудрецы говорят, что он ведет к смыслу и спасению.

Итак, мы говорим о тех, кто действительно *ищет* смысл или хотя бы *пытается* таковой смысл найти, обрести *разумение*, научиться *мыслить*, а не тупо исполнять приказания тех,

кто, быть может, напрасно назван мудрецом. Говорить о том, что путь обретения разума несопоставимо более труден, нежели путь буквального исполнения, просто излишне.

Но и здесь приходится заметить, что путь бессмыслия, кажущийся с точки зрения умственных усилий легким, на самом деле не ведет никуда и потому смертельно непроходим. Это путь не в лесу, а в лабиринте, не имеющем выхода. Путнику кажется, что идти легко, но вдруг он обнаруживает на своем пути им же построенный для ночлега шалаш, потом другое место своего собственного привала. Он обнаруживает, что ходит крутами. Если выбирать наименее обидное сравнение, то он уподобляется персонажам Джером Джерома в Хемптонкортском лабиринте. Правду сказать, подобие такое имеет тот изъяз, что в отличие от веселой истории английского писателя хождение по кругу в поисках смысла не вызывает смеха. Поэтому, если стремиться к правде, как бы горька она ни была, на память приходит Филиппова притча: «Осел, ходя вокруг жернова, сделал сто стадий, шагая. Когда его отвязали, он находился на том же месте. Есть люди, которые много ходят и никуда не продвигаются. Когда настал вечер для них, они не увидели ни города, ни села, ни творения, ни природы, ни силы, ни ангела. Без пользы несчастные трудились» (Филипп 52).

О! Если бы только без пользы! Ведь немало «мудрецов», которые, чем больше думают, тем дальше удаляются от истины...

1.1

Некоторые считают, что хотя в заповедях Божиих и есть иносказание, но *на всякий случай* лучше соблюдать и их букву. Такая «предусмотрительность», а лучше сказать, боязливость, оказывает человеку медвежью услугу. Ведь буквальное понимание заповеди есть плотское понимание. И служить такое понимание может лишь плоти — а как же иначе? Да только на пользу ли? И велика ли будет эта польза с учетом того, что плоть все равно не способна унаследовать Царства Небесного (1 Кор 15:50)? Это с одной стороны. А с другой — какая польза духу от плотского соблюдения заповедей? И что, если такой пользы нет, а на то, чтобы вникать в духовный смысл заповедей, у плоти не хватило времени, ибо все оно ушло на мнимую заботу о спасении самой себя? Тогда получается, что духу от заповедей нет *совсем* никакой пользы! Но это же абсурд, избавиться от которого можно только одним способом — *духовным* исполнением закона. Пусть даже духовное исполнение потребует отвержения плотских привычек в соблюдении заповедей.

От греховных привычек плоти, предосуждаемых Законом, многие призывают избавиться. Но многие, если не все, кликуши святости и подумать не смеют, что избавляться нужно и от плотских привычек в отношении соблюдения Закона. Ведь лучше иметь хоть какую-то надежду спасти дух, пусть не вполне совершенным духовным поиском, нежели тщетно пытаться спасти плоть.

Впрочем, мы оговоримся ради тех, кто не может принять наших наставлений: «До чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить» (Флп 3:16); «Всякий поступай по удостоверению своего ума» (Рим 14:5). После же этой оговорки — тем, для кого мы ее сделали, ничего не остается, кроме как избрать учителя, который льстил бы слуху (ср. 2 Тим 4:4).

Итак, мы говорим только о тех и обращаемся только к тем, кто не бездумен, но способен мыслить или хотя бы стремиться такую способность обрести. Какое же препятствие стоит на пути постижения истины и отыскания смысла? Таковым препятствием является внешняя сторона Закона и Учения, одетая соблазнительностью простоты буквального содержания. Подойдя к такому барьеру, человек останавливается перед дилеммой: либо продолжать путь

осмысленного постижения разумом, подсказывающим человеку, что необходимо находить смысл противоречивого и, как следствие, часто невыполнимого Закона, хотя бы результатом этого и оказалась необходимость отвержения чего-то, считавшегося святым и истинным, — либо же твердо следовать сложившимся представлениям о святости и истинности, пусть в ущерб смыслу, даже ценою погубления разума. Причем и в последнем случае сознание собственной вины за надругательство над смыслом не оставит такого человека. Итак, в любом случае — страх и сомнения. Страх и сомнение — вместо любви и веры. Есть о чем подумать, что и говорить... И до тех пор, пока человек не сделает шага, достойного образа и подобия Божия, пока человек не сделает шага в сторону постижения смысла, он так и будет пребывать среди своих фантазий и ложных представлений, ощущая при этом томление и беспокойство, в неизбывном сердечном сокрушении и великом смятении.

Просвещенный читатель мог узнать в приведенных рассуждениях парафраз мыслей Моисея Маймонида из его величайшего труда «Путеводитель растерянных». И мы не собираемся присваивать мысли, принципы и методы Маймонида. Напротив, мы отдаем ему должное. Ибо цели Маймонида по отношению к Ветхому Завету *совершенно* соответствуют нашим целям в отношении Нового. Мы отдаем должное Маймониду. Однако уже хотя бы потому, что новозаветным богословием он не занимался, мы должны продолжать нашу работу. А потому мы не почтем хищением перефразировать и другие его слова.

Итак, мы пытаемся дать читателю ключ к пониманию Священного Писания, позволяющий толковать язык притчи и образа. Дерзнем пообещать, что с Божией помощью нам удастся преодолеть многие из самых серьезных трудностей. Что же до некоторых из них, то они уже разрешены нами в первой книге. Но мы не можем обещать, что приведем читателя прямиком в Царство Небесное, устраним всякую растерянность и разрешим все до последнего сомнения. «Это не достижимо ни для одного мудреца, даже в устной речи, напрямую обращенной к собеседнику; тем более это невозможно изложить письменно в книге, не сделав ее мишенью для всякого глупца, возомнившего себя мудрым и вздумавшего метать в нее стрелы своей глупости» (Маймонид. Путеводитель растерянных. Введение).

2

Так вот, о стрелах глупцов, возомнивших себя мудрыми. Многие наши судьи, не долго думая, аргументировали свои возражения тем, что мы-де это все сами придумали и даже называли наше сочинение «сплошной отсебятиной». Ну что же, вынеся за скобки то элементарное для нас положение, что Бог по Своему благоволению Сам производит в нас все помышления и действия (ср. Фил 2:13), мы могли бы признать, что и на самом деле все это придумали сами. Точно так же, как «сплошной отсебятиной» у Эйнштейна была формула $E=mc^2$... Что же до нас, то нисколько не лукавя, можем признаться — о многих вещах мы и сами удивлялись: как же было *самому* не додуматься до того или иного! Так было при написании первой книги, много таких примеров будет и во второй.

Самые мудрые из наших противников, обвиняя нас в ереси и богохульстве, все-таки добавляли слова Гамалиила: «Если это предприятие и это дело — от людей, то оно разрушится, а если от Бога...» (Деян 5:38). Те же, кто относился не к самым мудрым¹, обвиняли нас в том, что

¹ Мы, конечно, не упоминаем в тексте основного повествования о тех носящих обличье человека критиках, кои сконцентрировали свои аргументы на том, что часть тиража первого издания вышла в черном переплете, или что автор сам верстает свои книги, или что автор «зомбирует» читательскую аудиторию, предлагая

наши утверждения легковесны и малообоснованны, высказывая вместе с тем одновременные сомнения, кои вызывала, по их мнению, чрезмерная логичность изложения.

И оказалось, что вновь прав был Ориген, когда писал: «Страстность и ненависть действительно не признают никакой последовательности. В раздражении и гнев люди по отношению к ненавистным им лицам допускают такие возражения и приводят против них такие обвинения, какие только взбредут им в голову, и при этом в своем раздражении они даже не рассуждают о том, как бы им свои обвинения обставить предусмотрительно и в последовательном порядке» (Против Цельса I.40). Что же требовать нам от наших критиков?! Нам присвоили даже титул ересиарха. Это было бы лестно, если бы речь та исходила от мудреца...

Были и такие, кто находил особую опасность в утонченности и развитии изложенного нами, но одновременно, как ни странно, называл наше сочинение примитивным и бессмысленным, добавляя, что теперь даже атеисты не выражаются так тупо.

К строгости и логичности повествования мы, не будем скрывать, действительно шли. Но не к глупости же с бессмысленностью было нам стремиться! К нашему удивлению, среди хора взаимно исключаящей критики нашелся и такой голос, который наш метод истолкования символов Библии, когда между аллегориями и истиной отыскивается взаимно однозначное соответствие, метод, зачастую ведущий к полному отвержению буквального смысла, назвал... Держись крепче за стул, дорогой читатель. Наш метод был назван фундаментализмом — «своего рода» фундаментализмом...

Отвержение буквального смысла ради поисков духа — таков наш метод. И буквалистическое понимание подвергнуто нами столь уничтожающей критике, что многие вообще усомнились в нашей вере. Некоторые доходили чуть ли не до обвинения нас в атеизме. Они соблазнились тем, что многие безбожники в своих антихристианских книгах также показывали бессмысленность. Из бессмысленности буквы критики христианства и вообще атеисты делали вывод о бессмысленности Библии. Точнее, они даже не различали этих двух понятий — они просто пытались показать бессмысленность Священного Писания, а вместе с ним христианства. Но ведь и мы показываем бессмысленность. Значит, говорят наши буквалисты, и это сочинение есть свидетельство безбожия.

В основу суждений таких наших критиков опять положен внешний признак, коим является бессмыслие. На самом деле близость можно определять по внешнему виду, отводя содержанию вторые роли, но можно близость определять именно по содержанию — не по буквальному, а по духовному смыслу, по сути. И вот по сути-то и оказывается, что как нельзя более близкими оказываются буквализм и безбожие, ибо они оба игнорируют дух. По конечному результату они близки так же, как неумение читать и слепота.

Но, по мнению многих, наши сочинения и не могут быть не чем иным, как пропагандой безбожия. Это те, чья совесть не допускает других представлений о Боге, кроме как в виде иконы или размалеванной статуи, сделанной из куска мертвого дерева или камня, который можно ощупать, обнюхать и облобызать. А мы-то — о ужас! — отвергаем их единственное представление о Боге. Кто же мы в их глазах, если не безбожники!

После обвинений в безбожии они добавляли, что буквальное понимание Писания — надежная опора верующего, — а из их «логики» следует, что буквализм сам по себе является свидетельством веры, в то время как аллегорический метод делает человека беззащитным перед лицом всяческих духовных, а то и физических злоупотреблений.

читать книгу по порядку, или что продавщица в магазине назвала книгу «хитом». Да и можно ли не «восхититься» «*homo sapiens*», который с особым наслаждением цитирует из нашей книги лишь то, что может читать, по его же собственным словам, с брезгливостью.

В ответ мы, конечно, не станем утверждать, что любое толкование — дай только ему название «аллегорический метод» — истинно. Более того, мы не хотим повторяться, но приходится, — даже с истинным толкованием следует обращаться осторожно. А теперь, после того как мы в очередной раз признали опасность твердой пищи для младенцев, спросим: Неужто буквализм не оставляет места физическим злоупотреблениям?! Разве *аллегорическое* толкование было причиной разного рода священных войн, крестовых походов, охоты на ведьм? Разве аллегорический метод ответствен за смерть Джордано Бруно и за горы сожженных книг?.. Что же до надежности опоры, кою предоставляет верующим буквализм, то нет ничего более непоколебимого, чем фанатизм. Если бы они с такой же непоколебимостью ходили по воде... Если бы также неизменно осуществлялось их ожидаемое...

Нам говорили: аллегорическое толкование, может, и хорошо, но уж больно трудно найти себе слушателя, который согласился бы слушать именно *это* толкование. У него, может быть, тоже есть аллегорическое толкование, только свое. Этот аргумент против аллегорического метода представлялся бы нам наиболее серьезным, если бы не был самым смешным. Потому что тесны врата и узок путь... Тьфу ты, ей-богу. Заладил... А действительно, не плюнуть ли нам на всё? Ведь бестселлеры из наших книг просто никудышные. Может, нам лучше было писать детективы или, на худой конец, любовные романы? Кстати, хорошее предложение для плакальщика по трудностям отыскания приятного общества. При этом, заметим, даже и буквалистическим толкованием лучше не заниматься... Все равно бестселлера не получится... разве только льстить слуху с особым цинизмом... Взять бы вот и написать, как следует «*по-христиански*» играть на бирже ценных бумаг... или в рулетку...

А если серьезно...

Да, аллегорический метод не свободен от проблем. Но что в этом мире свободно от проблем?.. Да, вкладывание некоего аллегорического смысла в библейские повествования субъективно. Но что в богословии объективно? Быть может, отягощенная неслиянностью нераздельность? Да что там в богословии?! Что, спросим мы, объективно в вопросах веры вообще? Не пар ли, являющийся на малое время, а потом исчезающий (ср. Иак 4:14)? Но ведь слепой не увидит и пара...

Да, невозможно «логически» доказать истинность того или иного небуквального толкования. Но и существование Бога возможно логически доказать только тому, кто не нуждается ни в каких доказательствах. Да, существует множество ложных путей отыскания смысла иносказаний. Но покажите такую область человеческого знания, где существует один-единственный и прямой путь к истине. Да!..

Но не довольно ли нам оправдываться? Ведь все перечисленные признания не означают принципиального преимущества буквального метода. Ведь и буквализм не свободен от проблем. Иначе откуда такие разделения среди конфессий, исповедующих букву? Ведь и буквализм нелогичен, более того — самопротиворечив и антиномичен, а то и вовсе абсурден. Ведь и буквализм субъективен. Более того — он ложен. Все это потому, что «буква убивает». С последним спорить невозможно: путь буквалистического толкования — путь изначально тупиковый.

И вот в духовных поисках человек оказывается в положении витязя на распутье: налево пойдешь — пропадешь, направо пойдешь — коня потеряешь, прямо пойдешь... Куда ни кинь — всюду клин! Путь буквализма сулит верную гибель. Путь аллегорического истолкования труден и опасен. Не остается ли повернуть назад, послать все к чертям собачьим и пойти пить пиво? Но это — путь атеизма. Так что же — так и оставаться в положении буриданова осла, погибающего от невозможности сделать выбор?

Стоп! А каков, собственно, повод сомневаться в пути аллегорического метода? Только один — боязливость. Не страх даже, а именно боязливость, ибо по-настоящему испугаться можно, только вступив на этот путь и встретив первые трудности. Да, этот путь полон соблазнов и опасностей. Но он и *только* он сулит *хоть какую-то* надежду. Что же до боязни опасностей, то не будем забывать: «боязливых... участь в озере, горящем огнем и серою» (Отк 21:8). Говоря другими словами, невозможно гарантировать, что путь аллегорического толкования приведет любого к истине и сделает свободным, но необходимо хоть что-то предпринять, чтобы не было так плохо, как в буквализме, ибо он, уж точно, никуда не приведет.

2.1

Многие наши читатели, в том числе даже искренние сторонники, критиковали нас за то, что мы необоснованно много сил растрачивали на разного рода обличения. К чему, имея в руках духовный микроскоп, заколачивать им гвозди?! Неужели же истину нельзя излагать прямо, ничуть не отвлекаясь на разъяснения чужих ошибок?!

Ответ на вопрос этот, конечно, же ясен и естествен: Да, можно! Но только в том случае, когда и внимающий истине воспринимает ее без оглядки на известных «мудрецов». Не то ведь получится, что истина будет отмечена без обсуждения.

Существует особая категория читателей и слушателей, которые снисходительно похлопают рассказчика по плечу, охарактеризуют рассказ как ересь, давным-давно «опровергнутая» Иринеем или Тертуллианом (эти для нас в прошлом), Дионисием или Иоанном Дамаскиным (а эти — впереди), и махнет рукой. При этом не следует ожидать, что ссылающийся на Иринея или Дионисия апологет «истины» хорошо знаком или даже просто читал этих авторов. Одно упоминание их имен должно, по мнению многих, утешить и обезоружить еретика.

Ради таких слушателей мы и идем на весьма пространные экскурсы в церковную традицию.

Весьма много нас критиковали и за то, что мы чрезмерно обострили некоторые проблемы, и в первую очередь тему николаитов, оттолкнув тем самым от себя многих, кто без того был бы готов согласиться с нами хотя бы отчасти. К чему такой скандал?

Подражая Павлу, мы могли бы сказать в ответ на эту критику, что о том не жалеем, хотя чуть было не пожалели (ср. 2 Кор 7:8). Пожалели не о том, конечно, что обострили, а о том, что иные читатели не смогли этого перенести и оскорбились — преткнулись — соблазнились (один греческий глагол: *σκανδαλίζω* — *скандалίζо*).

И вправду, могли ли мы обойтись без разбрасывания камней (ср. Ек 3:5)? Могли ли мы обойти острые углы? Не стоило ли нам пощадить чувства «правоверного» читателя? Могли ли мы вовсе пожертвовать чем-то, ради того чтобы приобрести как можно больше слушающих? Казалось бы, а почему бы и нет?!

Однако здесь есть одно «но». Ведь все это означало бы польстить их слуху... дабы нас избирало большее число. Слова Павла (ср. 2 Тим 4:3–4) просто вопиют! Ибо в полной мере наступило время, когда здравого учения принимать не хотят, но по своим прихотям избирают себе учителей, которые льстят слуху и от истины отвратили слух и обратились к басням (Там же).

Да и нужно ли нам большее число?! Самое большое число, как общеизвестно, идет простран- ным путем, прямо ведущим к широким вратам (ср. Мф 7:13). Большое число обратить невозмож- но. Быть может, нам по силам свернуть некое *малое* число с этого пути. Но нужно ли и можно ли делать это хитростью и притворством?! Потому-то мы и не могли, и не сможем в будущем льстить слуху читателя, дабы получить от него одобрение. Так что если кто и оскандалился за Николая и иже с ним, то... что мы можем с этим поделать?

2.2

Один наш оппонент (а к нему, вероятно, пожелает присоединиться и кто-то из читателей) высказался в том смысле, что излагаемое нами учение представляет из себя причудливую смесь гностицизма*, арианства*, несторианства*, оригенизма*—самых отъявленных и опасных по мнению традиционного христианства ересей. Причем нашего критика, по-видимому, несколько не смущал тот факт, что некоторые из них, как, например, оригенизм и традиционный гностицизм (а также несторианство и арианство) полностью исключают друг друга. Поистине такая смесь должна была бы казаться читателю не только причудливой, но и вовсе невообразимой, что должно было только прибавлять негативных черт нашим взглядам.

Но нет, дорогой читатель наш! То, что рассказываем мы, не смесь, и не причудливая, но стройнейшая система, где все стоит на своих местах, нисколько не колеблясь. Так бывает с древней фреской, которая ударами судьбы разбита на разной величины куски, в беспорядке валяющиеся под безобразной дырой. Картина производит впечатление безнадежно разрушенной, так что в качестве единственного верного шага, кажется, можно лишь законсервировать осколки до будущих лучших времен. А в ожидании их и в воспоминаниях о красоте фрески остается только молиться на эту безобразную гору мертвого камня. И это еще не худший выход! Но и далеко не лучший...

Возьмем в руки один из отвалившихся кусков и попробуем найти для него место там, где он был *в начале*, целую вечность тому назад. При этом не будем слушать разногласия хора мнящих себя мастерами советчиков, пытающихся криком своим указать нам правильное, по их мнению, место этого куска в стене. Быть может, и даже наверняка,— иначе все было бы излишне *просто*,— для первого осколка не найдется такого места, к которому он подходил бы столь правильно, что сразу занял бы свое истинное положение. Однако вкупе с другим осколком, который в свою очередь был бы не согласен оставаться на своем первоначальном месте в одиночестве, они будут уже до некоторой степени уверенно держаться. Следующий правильно найденный кусок еще более укрепит, упрочив одновременно и предыдущие.

Так, размышляя над казавшимися мертвыми камнями, находя для каждого из них свое положение, мы один за другим ставим на свои места все большее число осколков, оживляя для себя картину Истины.

Так было тогда, когда мы обнаружили, что *в начале Бог сотворил вовсе не небо и землю*, как мы привыкли полагать из-за неточности перевода, *но в начале сотворения небесного и земного сказал Бог: «Да будет свет!»* Так было тогда, когда тема символики пищи и поста неожиданно переплелась с темой Иоанна Крестителя как Предтечи Христа. Так было тогда, когда, обнаружив полную согласованность описания сотворения человека на шестой день и жены как отделенного от человека части-ребра, мы в определенной степени закрыли тему так называемых Яхвиста и Элохиста в отношении Первой книги Моисеева Пятикнижия. Так было и тогда, когда мы обнаружили удивительное взаимное соответствие тем блуда в Ветхом и Новом Заветах и их параллельность обличениям идолопоклонства. Так было тогда, наконец, когда, мы открыли тайну тридцати сребреников пророка Захарии, что совсем в ином свете заставило взглянуть на ту же меру в руке Иуды Искариота. Особая красота и стройность, скрепившая уже стоящие на своих местах фрагменты, обнаружилась в единстве арифмологических образов...

Однако мы так хвалим то, чему учим, вовсе не потому, что склонны к экзальтации и эйфории. От последнего шага нас предостерегает то, что картина, *восстановленная* нами из отдельных кусков в ходе изложенного в первой книге, еще вовсе не полна. Читатель и без наших замечаний

мог заметить, что по мере нашего продвижения вперед в раскрытии тайн количество вопросов не убывает. Во всяком случае, вопросы первой книги породили новые вопросы, и мы не можем их игнорировать.

Итак, мы будем и далее ставить на свои места и связывать оставшиеся куски из безобразной кучи, лежащей во прахе, покуда когда-нибудь мы не восстановим всей картины в ее первоначальном виде, и тогда уже никакой дьявольской силой нельзя будет отделить от фрески даже малейшей пылинки. Может быть, такое заявление самонадеянно, и лучше было бы сказать, что мы продолжим нашу работу, покуда Бог дает рукам нашим силу и покуда к себе относим слова: «для имени Моего трудился и не изнемогал» (Отк 2:3). И мы еще не достигли истины (ср. Фил 3:12), а потому и Бог имеет нечто против нас (ср. Отк 2:4). И дабы уменьшить наши *долги* Ему, долги, составляющие пятьдесят и восемьдесят мер, мы должны продолжить работу по восстановлению утраченного.

3

Чему подобно познание истины? Неужели Единая Истина открывается для каждого отличным от других образом? Неужели толкований и впрямь столько, сколько толкователей? Как это может быть? И может ли вообще такое быть?

Познание истины подобно восхождению на гигантскую ступенчатую пирамиду, вершина которой уходит в облака. Каждый поднимается к вершине со своей стороны и, еще только подходя к подножию пирамиды, каждый, оглядываясь назад, видит свое: один видит море, другой — пустыню, третий — стоящий в отдалении город. И под ногами также: один видит зыбучий песок, другой — острые камни, третий — грязные лужи. Да и ступени на разных склонах, надо полагать, могут выглядеть по-разному. Однако каждый видит если не цель, то, по крайней мере, направление движения к вершине. Пусть даже все заслоняет собой высота одной только первой ступени. Но путешественники не смогут договориться между собой о виде истины, и общего языка им не найти, ибо познали они каждый свое, и каждому открывается свой вид. Тут они, как в известной восточной притче, в полной мере подобны мудрецам с завязанными глазами, держащими слона кто за хобот, кто за хвост. Но всегда ли эта притча остается справедлива?

Картина меняется после того, как все наши странники поднимаются с подножия на первую ступень, и изменения в виде, открывающемся им, кажутся им *громадными*, ибо они смотрят на ландшафт уже с высоты. Они этого не знают, однако по сравнению с конечной точкой путешествия каждого изменения эти весьма незначительны. Вновь позади у одного море, а у другого пустыня, и смотрят-то они на все лишь чуть свысока. Впрочем, долго озираться им не придется, ибо, обратившись в сторону вершины, каждый видит очередную подлежащую преодолению высокую ступень. Смогут ли *теперь* прийти к соглашению об истине наши путники? И если да, то в какой мере? — В очень малой. Пожалуй, единственным отличием от предыдущего состояния является то, что каждый видит под ногами более или менее однородный материал ступеней, — нет уже ни острых камней, ни зыбучих песков, ни липкой грязи, и уже нет сомнений в направлении дальнейшего движения. Однако это еще вовсе не дает им возможности договориться об истине между собой, ибо один склон порос мхом, а другой высушен ветрами.

Да и, ясное дело, договориться будет невозможно до тех пор, пока наши путники не встретятся на вершине. Тут уже каждый сможет смотреть и в сторону моря, и в сторону пустыни. Только вот захотят ли они смотреть на все это? Да и будут ли видны море и пустыня, или вместо них они увидят под собой облака, оказавшиеся ниже вершины? Предпочтут ли они вид

пройденного пути тому, что может открыться перед ними, о чем они и *вообразить* не могли, приступая к основанию. Ведь им откроется ничем не замутненное солнце, которое они раньше видели только в просветах между туч.

Если кому-то из читателей понравилась такая притча, то пусть он подумает еще вот над чем. Приступая к подножию, путник не задумывался, необходимо ли ему прежде стремления вверх познать все, что лежит в основании пирамиды. (То, о чем мы сейчас говорим притчей, на языке плоти означает, что для познания истины не требуется познавать все о католицизме, православии, протохристианстве, церковных преданиях и историях, святых отцах и обо всем прочем.)

Точно так же, когда путник уже находится на первой ступени, вовсе не обязательно исследовать ее всю. Ведь достаточно пройти по ней только тот путь, который ведет к месту подъема на следующую ступень. Ах, как просто! Но ведь предстоит еще поискать место, наиболее удобное для подъема. К тому же и тут можно пойти не в сторону следующей ступени, а вдоль края. Может даже случиться, что он обойдет пирамиду вокруг и поймет, что опять заблудился. Но, так или иначе, путник придет-таки к следующей стене, по которой надо будет карабкаться на следующую ступень. Суть же в том, чтобы искусственно не задерживать свое пребывание на ступени, еще не позволяющей видеть вокруг себя всю истину,— надо двигаться дальше, не уподобляясь Лотовой жене, оборачивающейся назад, дабы рассмотреть весь ужас оставленного места.

Ради лучшего понимания и из-за нашего несовершенства в слове, мы сопровождаем наши рассуждения подобиями, притчами, похожими на только что изложенную. Нравятся они читателю или нет — не нам судить. Однако мы хотели бы заметить, что использование подобий ни в коей мере не призвано заменить убедительности и доказательной силы в рассказах. То или иное подобие — причем касается это вовсе не только наших сочинений — должно приниматься или отвергаться вовсе не по тому, как складно оно изложено и сопровождается изукрашенностями речи, хотя само по себе это не является недостатком, но по тому, насколько оно истинно, о критериях чего мы не видим необходимости повторяться.

Так, если мы слышим разглагольствования о том, что мир горний от человека, от мира (дольнего), сокрыт и что единственными окнами в этот необъятный мир являются иконы, то, невзирая на славу имен тех, кто сочинил эту сказку, хотя и отдавая должное *преlestи* сего уподобления, мы названное подобие должны все же отвергнуть. И читателю, знакомому с нашей первой книгой, не надо объяснять почему.

4

Каковы критерии истинности или ложности чего-то — мы не скажем «нового», ибо «нет ничего нового под солнцем» (Ек 1:9), — но чего-то, о чем не было слышно, что было неизвестно, что было основательно забыто? Не будем спрашивать об истинности у профанов, ибо мера категоричности неприятия этого неизвестного прямо пропорциональна степени их невежества и глупости. И потому «единомысленное» мнение даже целой толпы профанов ничего не стоит. Ноль, сколько его ни умножай, все равно останется нулем. Толпа может растоптать, но не может опровергнуть. Поэтому сколько бы ни было утверждающих или отрицающих истинность чего-то неизвестного профанов, мы не можем воспринять их мнение как критерий.

А ведь в силу кажущейся простоты и доступности предмета, о котором мы говорим, даже профан часто чувствует себя знатоком. Все понимают — чтобы сконструировать и построить мост требуется настойчиво и прилежно учиться, приобретать опыт. Даже на лошади покататься,

не имея соответствующих навыков, не каждый осмелится. Однако, когда речь доходит до вопросов вечности, спасения, искупления, тайнах Царства Небесного, мы уже не говорим о человеческой природе, душе, загробной жизни,— тогда многие из тех, кто никогда не вникал ни в себя, ни в учение (ср. 1 Тим 4:16), считают себя вполне знающими. По сути-то они должны были бы вообще молчать, но они не согласны даже выслушать на равноправной основе мнение, отличное от их собственного, считая нелепой любую незнакомую мысль. Поэтому, читая (в безумии говорю, ибо они их не читают) Климента, Оригена, Мейстера Экхарта, Григория Сковороду, Петра Чаадаева, они в лучшем случае исполнены чувства чванливого превосходства над «еретиком». Чаще же они судят о том, с чем вовсе не знакомы. Кстати, именно Ориген высказался о таких людях наиболее полно и при том достаточно кратко: «Они,— пишет Александриец,— вследствие неопытности своего ума, не только сами не могут последовательно изложить то, что составляет истину, но не могут даже приурочить свое внимание к тому, что говорим мы» (Ориген. О началах II.7:3).

Мы, сами не хотя того, но все же говорим о профанах. Однако помимо профанов существуют еще и специалисты. Мнение профессионала ценно уже по тому только, что он — специалист. Среди них есть те, кто только играет в театре земной жизни эту роль, в которую входит выглядеть, если не мудрым, то, во всяком случае, компетентным. Такие люди годятся лишь как критики, ибо признание положительных черт нового означает для них признание своего невежества (что, впрочем, не уничтожает полностью их критики).

Что же, если специалисты, выходя один за другим, не могут опровергнуть незнакомого? Учтем при этом, что опровергать всегда легче, нежели утверждать. Истинность требует доказательства во всем, во многом, а опровергнуть ложь достаточно в чем-либо одном, малом. Уже по одному только этому путь отрицаний оказывается более легким. (Еще легче, конечно, обругать, но это к делу не относится, ибо мы говорим о специалистах, а не об иринеях.) И вот специалисты не могут опровергнуть неизвестного. Не будет ли это свидетельствовать о чем-то в отношении сего неизвестного? — Да, будет! И на этот случай существует совершенно определенное понятие: *неопровержимость*!

Впрочем, мы согласимся и с более осторожным мнением Климента: «Не найдется, я думаю, ни одной столь благополучной книги, которая не встретит возражений и противодействия. Поэтому и ту книгу, против которой не находится основательных возражений, также следует считать здоровой» (Strom I.17.2).

И вот, хотя мы и говорили о своей жажде обличений, опровергатели не смогли опровергнуть того, что было сказано нами, и даже привести основательных возражений. Если и нашлись обличители, то не нашлось обличений. Если же мы говорим истину, почему же многие не верят нам (ср. Ин 8:46)? Однако не верят, а обличения заменяют осуждением, а то и бранью попеременно с угрозами. Впрочем...

И тут на память нам приходят сказанные почти два тысячелетия назад слова Афинагора: «Впрочем... многие из обвиняющих нас в безбожии, которым и во сне не приснилось познать Бога, по своему невежеству и несмыслию в предметах естественных и божественных, измеряют благочестие числом жертв и обвиняют нас в том, что мы не признаем тех же богов, каких чтут ваши города» (Афинагор. Прощение о христианах 13).

Итак, сохранив смысл сказанного одним из самых образованных христианских апологетов, мы продолжим свою мысль: Впрочем, многие из обвиняющих нас в ереси, которым и во сне не приснилось познать Бога, по своему невежеству и несмыслию в предметах божественных, измеряют благочестие временем, проведенным в их храмах, числом свечей, сожженных у иконы Николая, и суровостью осуждения и обилием насмешек в адрес «еретиков» и обвиняют нас в том, что мы не признаем и не молимся тем же идолам, каких чтут их церкви...

Парафраз мысли Афинагора, высказанной в отношении античных противников христианства, тем более справедлив в отношении наших обвинителей, что нынешнее христианство, подобно древним грекам, возвел свой собственный «христианский» Олимп, заселило его разного рода и ранга «святыми» иринейми-лионскими, николаями-чудотворцами и «равноапостольными» константинами-великими, обставив его мироточащими распятиями, плачущими кровью статуями, чудотворными иконами и мощами, понастроив своими руками грандиозных соборов и церквей, понаставив тут и там недостроенных вавилонских башен. Олимп получился величественным... А христианство оказалось религией, главенствующей в *мире*... Но что дальше? Что из того?

Если грубой массе пришлось по душе какая-либо идея, например религиозная идея, если она упорно защищала ее и в течение веков цепко за нее держалась, то следует ли отсюда, что творец этой идеи должен считаться в силу этого *и только в силу этого* великим человеком? Но почему, собственно? Благороднейшее и высочайшее совершенно не действует на массы; исторический успех христианства, его историческая мощь, живучесть и прочность — все это, *к счастью*, ничего не говорит в пользу величия его основателя, ибо в сущности, оно говорило бы против Него; но между Ним и тем историческим успехом христианства лежит весьма земной и темный путь страстей, ошибок, жажды власти и почестей ... т. е. тот слой, от которого христианство получило земной привкус и земной придаток, обусловившие возможность его существования в этом мире и как бы обеспечившие его устойчивость. Величие не должно зависеть от успеха... Наиболее чистые и наиболее искренние из последователей христианства всегда относились скептически к его мирским успехам, к его так называемому «историческому влиянию» и, скорее, старались парализовать их развитие, чем способствовать им; они обыкновенно ставили себя вне «мира сего» ... благодаря этому они в большинстве случаев и остались совершенно неизвестными и безымянными в истории. Или, выражаясь по-христиански: владыкой мира и вершителем успеха и прогресса является диавол.

Знаете, кому принадлежат эти слова? Вернее так: вы согласны под ними подписаться? Или хотя бы признать, что в них есть разумное зерно?.. Так знайте, что слова эти принадлежат человеку, считающемуся чуть ли наиболее одиозным врагом христианства из живших в двадцатом веке. Сказаны они Фридрихом Ницше (О пользе и вреде истории для жизни 9)¹.

В наших рассуждениях о критериях истинности повторим еще раз, что *никакое мнение не может быть почтено правильным только потому, что это мнение является нашим*, какое бы подавляющее большинство мы при этом ни представляли, *и никакое мнение не может быть почтено ложным только потому, что оно не наше*, даже если оно принадлежит только одному человеку. Это положение столь очевидно, что мы не видим необходимости его сколько-нибудь обосновывать.

Непоследовательность в этом принципе, не говоря уже о его игнорировании или отвержении, неизбежно ведет к следованию не здравому учению, а к удовлетворению своих прихотей и избранию учителей и учений, которые льстили бы слуху, а в итоге приводит к отвержению

¹ Пусть читателя не смущает ссылка на философа, авторитет которого в глазах «убежденного верующего» весьма и весьма спорен. Дело не в том, что его мысли были недопоняты большинством и послужили соблазном столь многих. Дело в том, что лучше его вышеприведенную мысль никто не сформулировал. Что же до того, что благодаря Ницше серые людишки возмнили себя сверхчеловеками, то он в этом виноват не больше, чем Иисус Христос в кострах инквизиции. О Нем соблазнились куда большие толпы.

истины и обращению к басням (ср. 2 Тим 4:3–4). Или, чуть перефразировав слова английского поэта Самуэля Колриджа (1772–1834), тот, кто начинает с того, чтобы любить христианскую догму более истины, продолжает тем, что любит свою секту или церковь более христианства, а заканчивает любовью к себе, более чем ко всем остальным.

Избыточно понятно, что догма не может считаться *здравым* учением. Ведь в ранг догмы* возводится не учение любви и мира, а только те положения, которые не могут найти никаких оснований в разуме. Более того, догма представляет собой наибольшую опасность. Разве не льстят слуху традиционные предложения спастись без дел, одной лишь сомнительной верой, спастись только благодаря крестной жертве Христа, да еще спастись скопом, «коллективно», только за счет принадлежности к «единственно истинной церкви»? И в льстивости слов уже нет разницы, как называет себя такой больной чесоткой в ушах, — «правоверный», «православный» или какой-нибудь «свидетель» или «святой» каких-нибудь дней.

Следовать чужим льстивым обещаниям неизмеримо легче, чем исследовать истину самостоятельно. Легкий путь соблазняет тьмы и толпы. Толпы формируют традицию, и уже сама традиция способствует укоренению того или иного ложного мнения, привлекая еще большие толпы. Круг замыкается. Место истины занимает традиция. Нам было бы сложно доказывать эти положения, если бы традиция была одна. Но их множество. Традиции, традиции, традиции...

Мы не исповедуем нигилизма в отношении традиций. Еще в самом начале нашей первой книги мы подчеркнули это, сказав, что в случае учения Христа забвение всего, бывшего прежде нас, — вредно. Мы не требуем слепого отрицания преданий. Но разве полезно слепое же утверждение преданий? Вспомните: Павел отчетливо негативно отзывался о себе, говоря, что он был «неумеренным ревнителем отеческих... преданий» (Гал 1:14). Иначе говоря, в сохранении традиций и в почитании преданий должна быть некая мера.

Иными словами: Является ли критерием истинности факт, что наши предки верили (подчеркиваем — не знали, а верили) в то-то и то-то? Отрицательный ответ на этот вопрос усматривается уже хотя бы в том, что если бы человек безусловно придерживался принципа праведности традиций, то истина о Едином Боге и доньше пребывала бы лишь в закрытом остальным народам узком кругу иудеев. Те же, кто стал наследниками античного мира, до сих пор открыто почитали бы Юпитера с Меркурием и Венеру с Бахусом. А россияне по сей день приносили бы жертвы Перуну. Что до Иисуса Христа, Сына Божия, пришедшего во плоти, то о Нем мы просто никогда бы не услышали.

И если мы согласимся с обоснованиями *традиционного* христианства, то чем же тогда плохо будет типичное возмущение и презрение в адрес христиан, цитируемое Минуцием Феликсом¹: «Я не могу выносить такой дерзости, нечестивого безрассудства тех людей, которые стали бы отвергать религию столь древнюю, сколь полезную и спасительную... Не должно ли глубоко сожалеть — я надеюсь, что вы позволите мне в порыве негодования говорить с большей откровенностью, — не следует ли сожалеть о том, что дерзко восстают против богов люди жалкой, запрещенной презренной секты... Они презирают храмы как гробницы богов, отвергают богов, насмеваются над священными обрядами... Надо его [это нечестивое сообщество] совсем искоренить, уничтожить» (Октавий 8–9). Смысл и набор слов, используемых Цецилием в адрес первохристиан, не многим отличается от смысла и лексикона, используемых традиционными христианами в полемике с нами. И мы считаем это хорошим признаком.

¹ Минуций Феликс — один из ранних христианских апологетов конца II — начала III века. Его сочинение «Октавий» написано в виде диалога между христианином Октавием и язычником Цецилием и представляет собой полемику с наиболее гнусными обвинениями против христиан.

4.1

Мы весьма недвусмысленно выступаем против традиций. Но, читатель, заметь: мы выступаем против них лишь постольку, поскольку нам пытаются под видом традиций второчить ложь. Мы нисколько ни против традиций истинных — тех традиций, о которых говорил, к примеру, Ориген. Но разве только Ориген?!

Проблемой (или ключом к ее решению) является то, что об истинных традициях говорили люди, *осужденные миром*. Взять за пример гораздо более близкое, нежели Ориген, место и время: «Для того чтобы стать достоянием человечества, идея должна пройти через известное число поколений. Другими словами, идея становится достоянием всеобщего разума лишь в качестве традиции. Но речь идет здесь отнюдь не только о тех традициях, которые сообщаются человеческому уму историей и наукой: эти традиции составляют лишь часть мировой памяти. А много есть и таких, которые никогда не оглашались перед народными собраниями, никогда не были воспеты рапсодами, никогда не были начертаны ни на колоннах, ни на пергаменте. Самое время их возникновения никогда не было проверено исчислением и приурочено к течению светил небесных; критика никогда не взвешивала их на своих пристрастных весах. Их влагает в глубины души неведомая рука...» (Чаадаев. Философические письма V).

Если понимать традицию так, как о ней пишет Петр Яковлевич, то мы согласны стать заядлыми традиционалистами. Дерзнем даже сказать, что именно сию истинную традицию мы и пытаемся вернуть к жизни — традицию аллегорического понимания Священного Писания Александрийской школы времен Климента и Оригена.

5

То, что мы здесь пишем, не случайно названо притчами читателю *первой* книги. Никакой ошибки тут нет. Наша новая книга является естественным продолжением предшествующего повествования. Вторая книга отвечает на вопросы, рожденные первой книгой, но и эти вопросы, и ответы на них — бессмысленны без вопросов и ответов, найденных нами в первой книге. Поэтому мы самым серьезным образом хотели бы предостеречь читателя, который взялся за вторую нашу книгу вперед первой. Настоящая работа, будучи прочитанной прежде первой, ничего, кроме соблазнов, не принесет. А мы — не ради себя, конечно, — хотели бы избежать стрел глупости со стороны хотя бы тех читателей, коих первая наша книга могла бы убедить. Если ты, читатель новый, не читал первой книги, то повремени и со второй. Более того, даже если ты читал первую книгу, перед знакомством со второй лучше ее перечитать. Возможно, что при этом первая книга станет для тебя второй...

Существует и еще одна причина, почему настоящая наша работа может стать источником непреодолимых соблазнов для читателя, плохо знакомого с первой книгой. Кроется эта причина просто в словах. Иначе говоря, в слова, которыми мы описываем то, что знаем, необходимо вкладывать именно тот смысл, который был объяснен ранее. Взять, например, всем знакомое, даже, скажем, затасканное слово *сознание*. Что приходит на ум обычному человеку, когда он слышит это слово? А какие ассоциации возникают в этом случае у образованнейшего философа? Можно ли это слово без вреда для смысла заменить словом *разум*, или же за ним кроется нечто таинственное и неудобопонятное, вроде Декартова *res cogitans*? И что мы «потеряем» в понимании природы сознания, если вместо него будем рассматривать ум? Или что мы выиграем от введения *res cogitans* или какого-либо более «умного» термина из латыни или греческого?

К чему, может спросить кто-то, все эти слова о словах? А дело в том, что читатель, незнакомый с рассуждениями первой книги по поводу сознания, будет в зависимости от своей образованности метаться между кухонно-бытовым и «высокофилософским» смыслами слова *сознание*. И это — еще в лучшем случае, ибо в худшем — неискушенный читатель просто не заметит этого слова. И любые наши ссылки и намеки на меру познания добра и зла (а именно это и есть в нашем понимании сознание) будут восприняты всеми перечисленными категориями читателей как вводящие в заблуждение и усложняющие картину.

Как прекрасен был бы мир, если бы была справедлива теория, что человек-де думает на языке и что язык является чуть ли не единственным носителем мысли. Человеку, по крайней мере, когда он говорил бы на своем родном языке, не составляло труда изъяснять свои мысли не только в случаях, ведущих к уличной драке, но и в самых высоких научных кругах. Кстати, и драк — как уличных, так и высоконаучных — было бы меньше. Любая самая сложная идея, рожденная в голове человека, без труда сходила бы с его языка. Вопрос сложности формулирования мысли стоял бы только для немого и неграмотного. Но оказывается язык — это не носитель мысли, а весьма несовершенная тара, а часто и вовсе прокрустово ложе. Мысль, пусть даже правильная, но загнанная в это ложе, часто деформируется, искажается, становится соблазном, скандалом в ушах слушающих.

Мы далеки от того, чтобы безусловно присоединиться к философу, изрекшему: «Мысль высказанная есть ложь». Кстати, применив его принцип к его же цитате, мы неизбежно должны были заключить, что и его собственные слова, то есть утверждение о том, что мысль высказанная есть ложь, тоже — ложь. Вероятно, поэтому далеко не всегда мысль высказанная есть ложь. Так или иначе, но, к сожалению, теория о языке как носителе мысли — неверна, и более приемлема теория-притча о языке как прокрустовом ложе мысли. Человек вынужден загонять мысль в шаблоны специальной терминологии, а то и просто кастрировать свою мысль в соответствии со средствами, предоставляемыми ему его языком. Поэтому, помимо определения слова *сознание*, нам пришлось вводить такие слова, как *палингенезия*, *апоката́стасис*, *арифмология*.

Введение этих терминов — вынужденный шаг. Каждый из них заменяет собой целую страницу объяснений, а подчас и десятки страниц. Термины эти, как ни странно это может прозвучать, используются нами для *простоты*. Именно к *простоте* мы стремились, а неоправданной сложности старались избегать. Мы не оговорились, сказав о стремлении к *простоте*, хотя нам такие признания вроде не к лицу. Действительно, после стольких обличений и насмешек в адрес простоты, можем ли мы хотя бы произносить это слово? И что мы имеем в виду?

Здесь мы хотели бы напомнить читателю о том, что существуют две простоты. Напомним мы и то, что, отрицая апологетов простоты буквы, мы настаивали на внутренней простоте истины. Другое дело, что сия внутренняя простота более чем часто требует для своего выражения довольно длинных объяснений. В этом нет ничего странного хотя бы потому, что в человеческом языке не хватает терминов и понятий, могущих выразить картину истины, какой бы простой она ни была. Простая суть поэтому часто требует кажущейся сложной формы. Однако бывает и так, что внешняя форма усложняется неоправданно. Это-то мы и имеем в виду, говоря о необходимости избегать сложности.

Предполагаем, что наш труд не является первым из того, что читатель изучал, ища ответы на вопросы об устройстве мира, человека и смысле жизни. Тут надо отметить, что некоторые из подобных сочинений грешат именно последним недостатком. А иногда бывает даже так, что такие сочинения за внешней сложной терминологией и вовсе ничего осмысленного не содержат. Их авторы могут вводить разные околonaучные и наукообразные термины, говоря о человеке, например, как об «информационной голограмме», и мы даже готовы поверить, что

сами они знают, о чем говорят, хотя человек, ясно представляющий себе, что такое голограмма, вряд ли станет вставлять этот термин где попало. Но вот понять их бывает просто невозможно, особенно если действительно знать, что такое голограмма.

Еще раз. Мы не настаиваем, что такие авторы понятия не имеют, о чем говорят. Мы даже не утверждаем, что они хотят скрыть свои дилетантские рассуждения за умными словами. Мы говорим лишь о том, что понять суть их теорий весьма сложно, если вообще возможно. И мы не отговариваем читателя от изучения такого рода концепций и теорий, но мы уговариваем читателя пользоваться (и для себя, и в общении с другими) только теми терминами, которые понятны, за которыми стоит суть, *мысль*.

Если можно избежать понятия «всеобщее бессознательное», или «ментальный план», или «космическое сознание», заменив их более удобоваримыми терминами, то это непременно следует сделать. Наиболее же рекомендуем мы пользоваться библейскими терминами, ибо даже если они и кажутся на определенном этапе сложными, то все же можно надеяться, что они станут некогда поняты. Во всяком случае, ясно, что Библия содержит гораздо больше смысла, нежели некоторые из современных теорий о человеке, мироздании, сознании, времени и вечности.

А дальше? — Дальше дело за теми, кто собирается (или *не* собирается) мысли, облеченные в эти слова, воспринимать. Иными словами, до сих пор мы говорили об ответственности автора за понимание идеи: он должен дать четкие определения, насколько может ясно изложить свои взгляды, обосновать логические переходы, привести убедительные примеры. Теперь же пришла пора вспомнить, что дальше дело за читателем, что процесс понимания — взаимный: если есть кого понимать, но некому это делать, то ценность изложенного сводится к нулю. Впрочем, мы такой случай можем считать чисто теоретическим, во всяком случае, нам такой оборот событий не грозит.

Итак, теперь нам следует поговорить о второй стороне процесса понимания — о слушателе или читателе. Опять же — если бы именно язык был бы носителем мысли, то мысль, вышедшая из уст говорящего, беспрепятственно достигала бы разума слушающего. Единственным условием правильного понимания было бы совершенное владение языком говорящего. Грубо говоря, знаешь, что такое, к примеру, палингенезия, — и вперед! Не имеешь представления, что это такое, — и ты в безвыходном положении... Однако выучить язык и освоить термины можно, а с пониманием есть серьезные трудности.

Читатель весьма расстроит нас, если ему покажется, что сказанное нами равносильно идее о том, что истина противоречива, и что эти противоречия истины становятся очевидными, лишь только истина получает словесную формулировку. Мы говорим о совсем ином. Мы говорим о понимании, а оно может быть ложным даже в том случае, если словесная формулировка не содержит никаких противоречий.

Что можно сказать по этому поводу? Или, может, нам стоит избежать формулировок, а вместо этого предложить читателю еще один рассказик-притчу?

Как-то раз один мой приятель подарил мне картинку. Собственно, картинкой его подарок назвать было трудно, ибо это была какая-то мешанина из точек и линий, взятая в аккуратную рамку.

— Что за чушь? — возмутился я.

— А ты взглядишь повнимательнее, — посоветовал приятель.

— Ничего не понимаю, — сказал я.

— Помести картинку прямо перед глазами, а смотри как бы сквозь нее, вдаль, — попросил мой знакомый.

— Ничего не вижу, отстань, — я начал терять терпение.

Но мой друг настаивал, я потратил еще минуты три, и вдруг — о чудо! — я отчетливо различил лопасти пропеллера. Самое же удивительное было то, что лопасти вращались... Впоследствии я показывал или, лучше, пытался показывать эту самую картинку разным своим друзьям и знакомым. Почему *пытался*? Да потому, что некоторые из зрителей так и не смогли на этой картинке увидеть ничего, кроме черно-белой мешанины. С тех пор прошло уже порядочно лет, и я так и не узнал, ни имени автора, ни того, на каком обмане зрения построена эта картинка. Да и вставлена эта история в повествование только по одной причине.

Уж очень похоже ведут себя люди в отношении наших объяснений. Они просто не способны увидеть стройной системы. Им говоришь: Бог пребывает в человеке, вот свидетельства тому. Правильно, говорят они. Вот — внешний человек, а вот — внутренний. Естественно, — звучит ответ. Значит человек — существо из трех частей. Аплодисменты. Посмотрим на описание храма — тоже три составляющих, причем даже похожие по названиям. Гениально, — говорят. Им говоришь: Вот — иерархия человека: внешний, внутренний, Бог. А вот — иерархия Павла: жена, муж, Христос, Бог. Ясно, ясно! Дальше то что? — спрашивают. Тогда им говоришь: Подобие этих иерархий столь очевидно, что ясно: жена — это внешний человек, а муж — внутренний. Спрашиваешь их: поняли? Да, говорят они в один голос, чего уж тут непонятного, только вот скажите, а почему Библия устанавливает такие неодинаковые требования к мужчинам и женщинам?..¹

6

Существует считающийся шуткой закон Мэрфи, гласящий: Если точность и строгость вашего высказывания не допускает ложных толкований, то все равно кто-нибудь поймет вас неправильно. Закон Мэрфи содержит лишь долю шутки, а мы переформулируем его для вполне серьезного употребления: *Нет таких вещей, которые невозможно доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.*

Спорить и доказывать?.. Когда это нужно и когда — нет? Ведь ответ на эти вопросы вовсе не однозначен. Все зависит от того, кто является собеседником. Взять хотя бы фрагмент, много раз упоминавшийся нами ранее: «Надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» (1 Кор 11:19). Разве упомянутые Павлом «разномыслия» не причина *спора*? И разве не единственным способом для искусного, желающего открыться, является доказывание своей правоты *в споре*? — Безусловно! Другое трудно было бы и помыслить. И не в споре ли рождается истина?..

Но, с другой стороны, не сказано ли тем же самым человеком: «Немощного в вере примите без споров о мнениях» (Рим 14:1). Разве не он учил: «Глупых же состязаний и родословий, и споров, и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны» (Тит 3:9)? Нет ли в этом противоречия? — Никак, ибо одно дело спорить с глупым и немощным в вере — это действительно суетное и бесполезное, даже безнравственное и греховное дело.

Не так давно мы говорили о том, что в силу кажущейся простоты и доступности Учения многие из тех, кто никогда не вникал ни в себя, ни в учение, чувствуют себя знатоками. Мы приводили подобие строительства моста, требующего длительного учения и опыта. Теперь же мы вновь возвращаемся к этому вопросу, чтобы читатель подумал вот над чем: коль скоро в христианстве все так *непросто*, возможно ли доказать что-то в споре «немощному в вере», а проще говоря, профану? Ведь — мы еще раз вернемся к Оригену — «они не могут приурочить свое внимание к тому, что говорим мы» (Ориген. О началах II.7:3). Поэтому ничего, кроме не-

¹ Реальный случай, произошедший с автором на XX Всемирном философском (!!!) конгрессе.

честия, в споре с «неможным в вере» родиться не может. Об истине в связи с таким спором даже упоминать неприлично. Да и позволительно ли младенца, едва способного глядеть на молоко, дразнить твердой пищей? Вот вам и греховное дело. Вот вам и соблазн.

Совсем не так с искусными — для них разномыслия полезны. Будем поэтому следовать советам Павла, и посоветуем и читателю воспользоваться ими: искать общения с искусными и избегать споров с глупцами. Искусные встречаются гораздо реже глупцов, чем первая задача усложняется. Но если рядом нет мудреца, не стоит пытаться заменить его сотней глупцов. Последних следует избегать. И эта задача весьма проста.

Есть и еще одна причина нашего уклонения от суетных споров. Причина эта вполне прозаическая — скука. Скучно и глупо спорить о вещах очевидных. Вот эти буквы, которые видит перед собой читатель, напечатаны на белом листе бумаги. Но если бы кто-то стал утверждать, что бумага не белая или сказал бы, что, строго говоря, она не совсем белая, и есть еще белее, то нам было бы скучно доказывать сию элементарную вещь. Говорим мы это к тому, что целый ряд вопросов уже должен быть очевидным, не требующим доказательства. И элементарных вещей мы повторять не будем.

Говоря на эту тему, мы можем весьма высоко оценить восточную мудрость: Кто говорит — не знает, кто знает — не говорит. То, что мы пишем, отчасти является как бы методом доказательства самому себе, способом — конечно, весьма несовершенным — систематизации открывающегося познания. В этом смысле мы говорим то, чего не знаем, а только лишь познаём *верою*. А если бы мы знали, то к чему было бы нам верить? Если же вовремя не перевести это познание на бумагу, то познанное (верой) становится прописной истиной, и о нем уже не хочется говорить.

Читатель, должно быть, обратил внимание, что главы нашей первой книги были неравномерны по степени интереса, который они представляли для читателя. Конечно, изрядная доля субъективности такой оценки здесь присутствует, но нельзя отрицать того, что к моменту перевода глав первой книги на бумагу они и для нас были интересны в разной мере. Одни писались, что называется, по горячим следам, другие же — после весьма долгих раздумий, то есть тогда, когда все в них было (для нас) избыточно ясно. Точно такое же явление свойственно и второй нашей книге, ибо действительно трудно говорить, что знаешь.

Во всяком случае, спорить мы ни с кем не намерены, ибо нельзя никакими силами убедить того, кто решительно настроен остаться не разубежденным. До сего дня есть люди, считающие, что Земля плоская... Как говорили латиняне: «Qui vult decipi decipiat» — кто хочет заблуждаться, пусть заблуждается. Тем не менее наша обязанность — обличить тех, кто, признав шарообразность Земли, все же сомневается в возможности кругосветных путешествий, или боится в такое путешествие отправиться, или же вместо кругосветного путешествия ходит кругами на одном месте.

Есть другая категория людей, почти ничем не отличаются от описанных, хотя подчас такие люди спрашивают совета и готовы даже записаться в ученики. Раз уж мы взялись рассказывать разные занимательные истории, то и этих людей опишем рассказом-притчей. Ни к тайнам Царствия Божия, ни к Писанию притча эта отношения не имеет. А впрочем...

Итак, один мой бывший приятель приходит ко мне как-то раз.

— Хочу, — говорит, — с тобой посоветоваться. Собираюсь пойти на курсы водителей. Все там хорошо, а вот прав категории «Е» они не дают. Как думаешь, что делать?

— На кой ляд, — отвечаю я ему, — сдалась тебе эта категория «Е». Тебе, — говорю, — и остальные-то категории вряд ли когда пригодятся. Поступай — не думай.

— Да? — говорит. — Ну ладно, я подумаю.

На следующий день мой знакомый снова обращается ко мне с тем же вопросом и получает тот же ответ. Через день — опять, с тем же результатом. И так — несколько раз подряд, как будто всех его предыдущих вопросов и моих ответов просто не существовало. Наконец, мне все это надоело, и после очередной просьбы дать совет, я ему говорю:

— Нет, раз там нет категории «Е», то на такие курсы идти не стоит. Дрянь, а не курсы.

— Да? — говорит он. — Вот и я тоже так думаю...

Притча эта о людях, для которых во всем интересно лишь то, что подкрепляет их собственное мнение. Ценность совета или научения для них существует лишь постольку, поскольку сие научение соответствует их собственным мнениям и заблуждениям, поскольку то, о чем они спрашивают, — их собственный, а подчас внушенный им взгляд, иногда иначе сформулированный. Самые «либеральные» и «широкомыслящие» из них умудряются выбрать из учения лишь то, что скрепляет кирпичики их песчаных замков. Остального же они не берут. А иных вещей они как бы и вовсе не замечают, демонстрируя удивительную способность не осуждать себя за предвзятый выбор того, что они хотят видеть и слышать, а чего не хотят. Справедливо сказано о них Иисусом Сираховым: «Если мудрое слово услышит разумный, то он похвалит его и приложит к себе. Услышал его легкомысленный, и оно не понравилось ему, и он бросил его за себя» (Сир 21:18). Потому они и не способны принять здоровое учение, что по своим прихотям выбирают себе басни и учителей, которые льстят слуху (ср. 2 Тим 4:3–4). Даже в обличении они видят лишь то, что льстило бы слуху.

О чем мы говорим? Да о том, чтобы не только понимать и соглашаться с написанным нами, но и принимать; не только принимать, но и применять. Ибо в отношении восторженного читателя, если он соглашается с нами лишь теоретически, у нас так же нет никаких иллюзий. Чрезмерно восторженный последователь либо безнадежен, либо опасен, потому что у него просто не хватает времени для практического воплощения предмета восторга, ибо все силы его уходят только на пустые разговоры о правильности идей.

Однако нам не приходится беспокоиться — разве только по человеческому разумению, — что благовествуемое нами не станет для кого-то ничем большим, нежели развлекательным чтивом, ибо все построено по единым законам. И один из них таков, что, если кто хочет что-либо получить, он должен быть готов нечто и отдать. Тот, кто хочет получить много, должен быть готов и отдать много. Но если кто хотел бы получить все, он должен и отдать все. Но это не как в торговле, иначе даруемое было бы от дел, коими были бы жертвы. Потому — *не как жертву* нужно отдать. «Если бы вы знали, что значит: милости хочу, а не жертвы» (Мф 12:7). Никого нельзя насильно сделать лучше, а в известных обстоятельствах — даже себя.

Поэтому, решая эту задачу, не следует начинать с того, что составит вашу будущую жертву, как то делают многие, будучи ограничены рамками своей фантазии. Сперва надо решить, что вы хотите получить, и действительно этого хотеть. О человеческой фантазии же в отношении своей жертвы не приходится ожидать замысловатого комментария, ибо для подавляющего большинства жертва по надменности их ума ассоциируется с борьбой против плоти или с *физическими* усилиями.

Говоря о плоти, мы ни в коей мере не призываем к потаканиям похотям плоти (ср. Рим 13:14), ибо для мира и познания Божия одинаково пагубны как клонящее в сон обжорство, так и урчащий от голода желудок. И это, конечно, тоже притча, ибо мы имеем в виду не только потребность плоти *в пище*. Иное дело, что помыслы о горнем могут затмить помыслы о плоти вообще. За таким устремлением стоит любовь к Богу, с коей в родстве состоит и милость, о которой мы говорим.

Один из наиболее почитаемых ныне православных святых, Серафим Саровский, как-то высказался в том смысле, что лучше сидеть во время молитвы и думать о Боге, нежели стоять и

думать о ногах. Кто с этим будет спорить?! Мы только дерзнули бы расширить эту мысль, сказав так: Лучше заботиться о своей плоти (ср. Еф 5:29) и при этом думать о небесном, нежели истязать и изнурять свою плоть, поститься по плоти, проявлять небрежение о своей плоти (ср. Кол 2:23) и при этом думать об этой неудовлетворенной плоти. Или, как в анекдоте: курить во время молитвы — плохо, а молиться во время курения — чего ж тут дурного.

На востоке рассказывают такую притчу. Говорят, притча эта суфийская. А может, буддийская... Не будем стесняться этим — она совершенно соответствует тому, о чем мы говорим. Итак, как-то раз два монаха, известные своим благочестием, шли своей дорогой. Случилось так, что их путь преградил бурный поток. На берегу они увидели женщину, которая также намеревалась пересечь реку, но никак не отваживалась. Старый монах просто взял эту женщину на руки и перенес на другой берег. Монахи пошли дальше. К вечеру тот монах, что был помоложе, завел разговор. «Хорошо ли, — спросил он, — что ты перенес ту женщину? Ведь монаху на женщину даже глаз не пристало поднимать!» — «О, сын мой, — ответил пожилой монах, — неужели же ты до сих пор несешь ее?!»

Что ни говори, многие поступают так, как тот молодой монах. И это — несмотря на то, что Апостол прямо называет сие *самовольным* смиренномудрием. Обратите внимание, как Павел связал ложное смирение с самоволием.

Итак, наибольшие трудности для последователя написанного нами встречались в двух положениях: в вопросе достижения смирения и в принятии принципа иллюзорности свободы воли. Как нам казалось, мы с достаточной ясностью определили цель и место смирения в задаче перемены помышлений, снискания духовных даров и в конечном счете достижения единения. Однако нам приходится повторять: смирение есть путь устранения плотских помышлений, способ устранения суетного мышления с тем, чтобы освободить место для мудрости, сходящей свыше.

Некоторые же люди, к сожалению, понимают смирение превратно, ложно истолковывая его как покорность, как непротивление злу, исходящему от мира. Кое-кого наши объяснения о безмолвии подвигнули даже на то, чтобы вытащить на свет проповедь «непротивления злу насилием» Л. Н. Толстого. Свое учение Толстой обосновывал *буквально* понятиями словами Иисуса: «Не противься злему» (Мф 5:39). Но, Лев Николаевич, уж если быть буквалистом, так до конца последовательным. Ведь в Нагорной проповеди не сказано «не противься злему *насилием* или *злом*». Там говорится о тотальном непротивлении. Чем же непротивление злу насилием отличается от непротивления злу «добрыми делами»? И кто решает, что есть насилие, а что «добрые дела»? — Тот, кто противится злему «добрыми делами» или сам «злой»? В конце концов можно же воспротивиться злему в настолько доброй форме, что этим «соберешь ему на голову горящие уголья» (Рим 12:20). А «злой», быть может, не хочет горящих углей на голове. Вдруг он, кто знает, предпочел бы, чтобы ему лучше палкой двинули по лбу. А в самом конце концов с чего вы взяли, что он злой? Может, он вам хочет добра, а злым вам только кажется. Кажется же кому-то и Бог злым...

Решение этой головоломки находится за пределами буквы. «Буква убивает» (2 Кор 3:6), даже если это буква заповеди «Не противься злему» (Мф 5:39). Мы, впрочем, не будем тутчас пытаться решить эту проблему. Скажем лишь, что какое бы то ни было непротивление есть лишь одно из следствий истинного смирения, причем далеко не самое главное.

В случае же если следствие перепутать с причиной, то извращение понимания смирения может вылиться в свою противоположность — в гордыню своим смирением. Еще раз: Смысл смирения состоит *не* в том, чтобы «покорно» пребывать в мыслях о невзгодах и бедах и обо всем остальном, в отношении чего мы привыкли по человеческому разумению говорить о

смирении. Такой образ мышления — смирение наоборот. Истинный же смысл смирения в том, чтобы не думать о делах мира, хотя бы даже и получая через это смирение ответ в отношении бед. Однако по сравнению с другими последний результат смирения настолько презренная вещь, что мы почти сожалеем, что о нем упомянули. Одним словом, смирение как непротивление злу есть лишь притча об истинном смирении.

Как-то раз нас даже спросили: Что делать со смирением в мире, лежащем во зле? — Не так! — Что же делать в мире, лежащем во зле, *без смирения*?! И единственный способ уменьшения зла в мире — да что там — уничтожения зла, — это смирение. Как говорил Игнатий Антиохийский: «Нужна мне кротость, которую *низлагается* князь века сего» (Трал 4).

Но почему же и как смирение может обратиться своей противоположностью? В одной из весьма почтенных николаитских книг¹ нам (и, к сожалению, многим другим) встретилась проповедь такого смирения, которое сводилось к идее, что если кто хочет научиться смирению, то он должен готовиться к оскорблениям. Но чем же этот принцип плох? Ведь действительно, казалось бы, чем еще и проверять смирение. Но не будем торопиться просить Бога послать нам оскорбителя, дабы использовать его как преподавателя смирения. Вспомним-ка лучше Иоанна Лествичника, знакомого читателю по первой книге: «Без сомнения, крайняя степень гневливости обнаруживается тем, что человек наедине сам с собою, словами и телодвижениями как бы с оскорбившим его препирается и ярится» (Лествица 8:13). Подчеркнем, что речь идет о *крайней* степени гневливости.

А много ли читатель встречал мастеров смирения и безмолвия, которые не проявляют этой самой «*крайней* степени гневливости» *наедине сами с собой*? И много ли найдется читателей, которые смогут этим похвастать? Но если ты даже наедине сам с собой не можешь смириться, то не высшая ли степень самонадеянности, гордыни или даже мании величия пытаться устанавливать безмолвие в присутствии оскорбляющего? Можно ли без гордыни пытаться поднять тяжелую гирию, будучи не в силах оторвать от пола пушинку?

Пропагандисты такого рода смирения, вероятно, были вдохновлены строкой из Премудрости Соломона: «Испытаем его [праведника] оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его» (Прем 2:19). Любые ли слова из Библии являются свидетельством? На все ли в Библии можно ссылаться как на прописную истину? — Какой странный вопрос? Но так ли уж он странен? Действительно, если бы Библия содержала только речи Бога и Его пророков, то нам ничего не оставалось бы, как готовиться к установлению рекордов смирения. Но в том-то и дело, что слова об испытании праведника оскорблением принадлежат «неправо умствующим» (Прем 2:1).

Когда бы смирение было самоцелью, то достижение крайней степени смирения, характеризующегося способностью сохранять внутреннее безмолвие в присутствии оскорбляющего, заслуживало бы всяческого возвеличивания. Но если смирение — нечто, не требующее признания заслуг, если смирение — нечто, чего нельзя занести в книгу рекордов Гинесса, то всяческие упражнения в «большем смирении» оказываются тем, что заставляет вспоминать заповедь «не искушай».

На самом деле смирение — это ключ к принципиально иному способу мышления. Ведь мысля обычным образом, рассуждая в себе, человек неизменно связан своими представлениями или, лучше сказать, фантазиями. Именно это и называется рассуждением по человеческому разумению. А над человеческим есть разумение высшее. Есть и высшее мышление — «новое» мышление. Мы уже не напоминаем читателю, что «покаяние» по сути своих греческих корней означает перемену мышления, обновление ума. И только безмолвие, или, если хотите, отрешенность, или покой разума, дает возможность постичь нечто великое, недостижимое человеческой логикой.

¹ Если читателю интересно, то речь идет о «Невидимой брани».

Или ты думаешь, читатель, что Эйнштейн, мысля по старинке, пришел к тому, что $E=mc^2$, а Планк «логически» вывел, что $E=h\nu$? Но дело, конечно, не в новом мышлении неверного управителя, ибо человек создан для познания гораздо более великого. И это-то великое в отсутствие безмолвия для человеческого разумения недостижимо, хотя, как считается, некоторые (в их числе даже Моисей Маймонид и Мейстер Экхарт), понимая это, ошибочно обобщали свойства великого как вообще непознаваемые¹.

Впрочем, «новое» мышление не столько новое, сколько единственно возможное. Ведь человек как вид носит название *homo sapiens*, и этим подразумевается, что он — мыслящее существо. Но такое название чрезмерно лестно для человека, ибо из сотен миллионов биологического вида *Homo Sapiens* лишь единицы удостоиваются именоваться мыслителями, а подтверждается это наименование, ставшее почетным титулом, только в веках.

6.1

К настоящему времени изобретен целый ряд теорий общественного и экономического развития человечества. Прибавим в этот ряд еще одну, хотя и оговоримся сразу, что не претендуем на полноту выявления причин и мотивов прогресса человечества. При этом с самого начала надо заметить, что прогресс следует строго дифференцировать: есть прогресс внешний (читатель может назвать его техническим, или социальным, или как-нибудь еще), и есть прогресс внутренний (и его мы до поры не будем касаться). Так вот, о внешнем прогрессе. Рискнем предположить, что главным двигателем такого рода прогресса является природная человеческая... лень. Да, да, мы не оговорились — именно лень. Действительно, что легче — копать руками или лопатой, хотя, конечно, ее сначала нужно изобрести. Но уж после такого изобретения копать яму будет легче, у человека будет оставаться больше времени на... тут можно сказать, на отдых, а можно сказать, и на то, чтобы предаваться лени. Дальше — больше, и человек доходит до изобретения экскаватора. С каждым шагом технического (мы его называли внешним) прогресса у человека остается все больше времени на то, чтобы предаваться лени, да и устает он меньше.

Мы никак не затронули таких факторов развития, как ненасытность человека и его разум. Однако же заметим, что последний развивается как раз в соответствии с теми стимулами, которые рождает упомянутая выше лень.

А что было бы с человеком, если бы он был способен работать неустанно, и в отдыхе не нуждался бы совсем? — А что происходит с насекомыми — какими-нибудь муравьями или пчелами? Мы не были в шкуре муравья, и у нас, конечно, нет оснований утверждать, будто они совсем не устают, а потому и в отдыхе не нуждаются, а значит, и к лени не склонны. Но факт остается фактом — они могут выполнять несравнимо большую, принимая во внимание пропорции, работу, нежели человек. И что? — А то, что они и сейчас строят такие же точно муравейники, как и многие тысячи лет назад.

А как быть с внутренним прогрессом человека? Разум человека постоянно занят чем-то. Разве человек устает оттого, что думает о всякой ерунде? Разве разум его нуждается в отдыхе? Если провести грубую параллель, после тяжелой работы человека тянет полежать, ничего не

¹ Впрочем, мы имели дело с переводами, ибо требовать знания арабского или средне-верхне-немецкого... И, как в случае с Мейстером Экхартом, вообще не вполне понятно, что слушатели его проповедей записали точно, а что воспроизвели с ошибками. Но об этом мы уже говорили.

делая. А после того, как человек обдумывал пусть даже очень серьезную профессиональную проблему, требующую напряжения всех его интеллектуальных сил, разве имеет он склонность к успокоению разума, разве нуждается он в том, чтобы *ни о чем* не думать? Да разум человека не устает работать, даже когда человек спит, утомленный умственной работой!

Лень, таким образом, стимулирует внешний, «технический», прогресс: делать больше, быстрее, лучше. А у мыслительного прогресса нет адекватного стимула: зачем думать лучше? — думать мы и по старинке не устали.

Человека приходится призывать к смирению и безмолвию, и последнее у него выходит из рук вон плохо, ибо самым инстинктом он не приучен к отдыху ума. Умственную работу человека можно уподобить физической работе муравья. Как муравей неустанен в физической работе, так и человек неустанен в умственной. Как муравей не имеет стимула сегодня работать более производительно, чем вчера, так у человека нет стимула сегодня думать лучше, чем он думал раньше. И результат подобен муравейнику: человек сегодня думает так же, как его предки думали тысячи лет назад.

При этом инстинктивно человек догадывается, что для ума есть задачи неизмеримо более грандиозные, нежели те, которыми он занят по старинке. Но он старается убежать от них, закрыть на них глаза, убедить себя в том, что нет ничего более важного, нежели то, чем его ум занят сейчас. Поэтому он рад пойти против естественных ленивых инстинктов, рад заменить умственную работу тасканием вериг и прочими глупостями. Поэтому его гораздо больше устраивало бы, если бы было сказано, что Царство Небесное *физической* силою берется...

Ну да ладно. Теория наша с иными могучими *трусами человеческой мысли* в один ряд встать не может. Признаем это. И теорией-то ее называть не к лицу. Пусть читатель придумает для наших рассуждений какое-нибудь иное определение. А мы тем временем предложим ему отнести наши рассуждения к разряду притчей. На самом деле, не уподобили ли мы физически могучего муравья Человеку Разумному? И не одинаков ли результат их деятельности, если говорить о внутреннем прогрессе человечества?

Однако в наших уподоблениях мы не хотели бы заходить настолько далеко, чтобы задавать вопрос, что было бы, если бы человек уставал от умственной работы, что было бы, если бы человек имел стимул думать лучше, и что было бы, если бы покой разума был для человека столь же естественным и желанным состоянием, как стремление посидеть в мягком кресле. Просто такой человек был бы уже не человек. Это было бы что-то иное. И неизвестно, был ли бы такой человек склонен к внешнему прогрессу. Да и нужен ли был бы ему такой прогресс? Выскажем даже сомнение, что такой человек был бы способен выполнить божественное предназначение.

Одним словом, не будем путать (истинное) смирение с самовольным смиреннымудрием.

7

Касательно самоволия человека мы не будем спорить с теми, кто настаивает на тавтологичном для русского языка сочетании «свободная воля». Не полемизируя по поводу свободы, нам придется все же сделать одно замечание. Речь идет о тех, кто странным образом признает Божественный промысел, но пытается и для человека допустить условия, напоминающие свободу. Такие люди не возражают, когда мы говорим, что воля человека — ничто по сравнению с Божией волей, однако они говорят, что человек может стать свободным или почти свободным, если он Божественную волю осознает и с радостью ей следует.

Читатель, быть может, почувствовал, что от высказанного положения рукой подать до понятия свободы, как осознанной необходимости. Уже одно только это может внушить некоторые подозрения. Но оставим и осознанную необходимость как суетную тему. Оставим, ибо нам стоит обратить внимание еще на одну интересную связь: ведь вопрос того, с радостью ли следует человек своему предопределению или из-под палки, прямого отношения к отсутствию выбора не имеет. Говоря о предопределении, мы пока вообще не касались вопросов человеческих эмоций. Предопределение осуществится независимо от того, нравится это кому-то или нет. Однако связь все же существует. Дело вновь в сознании — мере познания добра и зла. Ведь если следовать предопределению с радостью, то только в силу именно такой степени познания добра (и зла). Так что, оказывается, единственный вывод, который мы можем сделать из приведенной теории, это то, что человеку с более совершенным уровнем сознания легче воспринять принцип и смысл предопределения. Но не будем останавливаться на этом месте более подробно, тем более, что к теме этой — связи уровня сознания со «свободой» — нам еще предстоит вернуться для куда как более подробного рассмотрения.

Большую трудность в вопросе предопределения кое-кто из читателей встретил в виде соблазна фатализма. Однако опять же: к фатализму может быть склонен лишь тот, кто своего предопределения не знает. И иллюзия свободной воли, самоволия, представляет для такого человека в известной мере спасательный круг. Нечего и думать переплыть на нем океан, но и отталкивать его от себя во время бури — глупость. Ведь не выкальвает же дальтоник себе глаза только потому, что ложно воспринимает цвета.

Поэтому коль скоро человеку не открыто его предопределение, то пусть уж лучше он, зная о существовании предопределения, скорбит о неизвестности будущего и радуется всякому Божию промыслу в прошлом, нежели он будет скорбеть о прошедшем, успокаивая себя будущей неизбежностью, оправдывающей его бездействие. Как легко видеть, и такая постановка вопроса ведет нас напрямик к проблеме истинного смирения.

Если склонного к фатализму читателя не убеждает наша аргументация, предложим читателю рассуждения Оригена, к которым уж никак не придерешься. Ориген извлекает на свет понятие «ленивой отговорки» (*ἀργὸς λόγος* — *argos logos*). Состоит этот полусофистический прием в такой логике: «Если судьбой тебе суждено освободиться от болезни, то ты все равно выздоровеешь, независимо от того, призовешь ли ты врача или нет. Если же судьба предопределила тебе не выздороветь, то ты хоть призывай врача или не призывай: все равно — не выздоровеешь. Словом, суждено ли тебе судьбою освободиться от болезни, суждено ли остаться больным: в том и другом случае ты напрасно будешь звать врача» (Против Цельса II.20). Читателю-фаталисту нравится такая логика? Но послушай дальше: «Если судьбой определено, чтобы у тебя были дети, последние все равно у тебя будут, независимо от того, женишься ты или нет. Следовательно, решила ли судьба тебе детей дать или не дать, все равно ты напрасно будешь иметь сношение с женой. Но как здесь связь с женой не может считаться бесцельной, потому что без этой связи с женой и происхождение потомства совершенно немыслимо и невозможно, так равным образом и приглашение врача необходимо, коль скоро выздоровление от болезни происходит от врачебного искусства. Вот почему сам совет: „ты напрасно приглашаешь врача“ — оказывается ложным» (Там же). Такой вот анекдот для ожидающего детей в воздержании.

Иного сорта недоразумения о предопределении связаны с вопросом: Если все предопределено, то для чего все это нужно Богу? Люди, в чьих устах звучит этот вопрос, ставят его как чисто риторический, держа в уме отчетливо сформулированную мысль, что если все предопределено, то жизнь скучна и бесцельна для человека. Уже гораздо менее отчетливо сквозь такое заключение просматривается предположение, что если все предопределено, то это должно

быть бесцельно и скучно для Бога. А поскольку никто не может и помыслить, что творение для Бога может быть бесцельно, то из всего этого делается «доказательный» вывод — что положение о предопределенности неверно. Построенная цепочка положений — как раз и есть печальный пример человеческого «логического» мышления, которое на самом деле есть не что иное, как мышление в шорах плоти, мышление шаблонное, ибо Бог представляется здесь вновь предельно антропоморфично*, как азартный зритель, следящий за развитием сюжета и нетерпеливо поглядывающий на часы.

Итак, если все предопределено, то для чего все это нужно Богу? Заметим, что этот вопрос *более* умен, нежели вопрос противоположного свойства: Для чего все нужно было бы Богу, если бы все было не определено? Ну прямо как в английском анекдоте: «Какой вам смысл держать пятеро часов? Ведь все равно все они показывают одинаковое время. — А какой смысл был бы держать пятеро часов, если бы все они показывали разное время?» Таков анекдот. Но от себя добавим мораль: коль скоро мы имеем пятеро часов, то лучше пусть они показывают одно и то же время. И пусть это будут такие часы, которым предопределено в пять показывать пять, а в полдень — двенадцать. Итак, если бы все было *не определено*, то для чего *такое* нужно было бы Богу? Этот вопрос также риторический, но уже сама его постановка абсурдна, и последний вопрос мы будем считать из области риторики слабоумного. Нам *скучно* доказывать безумие этого вопроса.

Некто попытается остановить нас, предлагая такой вариант решения, при котором нечто, быть может, самое главное Богом предопределено и предугадано, а нечто иное, менее важное, находится в рамках свободы воли человека. Допустим, что так оно и есть. *Но куда же нам деться от того же самого вопроса*: Если нечто главное предопределено, то для чего это нужно Богу? Как видите, такая попытка повела нас *по тому же самому кругу*, показав, что мы заблудились. И нам ничего не остается, как оставить шаблоны человеческой логики и вернуться к справедливости постановки первого вопроса.

И раз мы заговорили о вещах, непознаваемых по старинке, однако же познаваемых с помощью «безмолвного» мышления, то мы уже никак не отговоримся, что это, мол, лежит за пределами человеческого понимания. Но, так или иначе, сей вопрос относится к такому роду, что лучше всего отвечать на него вопросом Иисуса в передаче Фомы: «Открыли ли вы начало, чтобы искать конец?» (Фома 18). Потому сейчас мы довольно далеки от того, чтобы тут же изъяснять смысл и цель предопределения. Мы можем лишь надеяться, что некогда на этот вопрос будет возможным ответить. Сейчас же для нас важно, что в предопределении всего есть некая пока непознанная цель, как есть она во всем сотворенном.

«Безмолвное» мышление имеет еще и то грандиозное преимущество по сравнению с дискурсивным*, «логическим» мышлением «по старинке». Обдумывая одну проблему «безмолвно», можно получить ответ в отношении того, что может казаться второстепенным, маловажным. Но человеку ли судить, что важно, а что второстепенно. Можно даже «вспомнить» то, мимо чего тысячу раз проходил, не замечая.

8

Приступая к новому повествованию, нам хотелось бы коснуться темы целей и задач учения. Ведь значительную часть своего возраста человек занят именно этим. Поначалу, еще в детстве, человек учится в школе. При этом мы должны заметить, что задача школы состоит вовсе не в том, чтобы напичкать учеников некими обязательными знаниями, да многие из этих знаний и не пригодятся школьникам никогда. Задача школы совсем иная — научить ученика учиться самостоятельно. После школы некоторые продолжают обучение в университете. Методы

обучения последнего значительно отличаются от школьных. У студентов не спрашивают уроков, составлявших тему предыдущего занятия, — они в гораздо большей мере должны уметь учиться сами. Степень самостоятельности значительно возрастает для тех, кто решает не ограничиваться университетом, но в совершенстве овладеть избранной областью человеческой мудрости. Такие люди уже совершенно самостоятельно определяют, чему им учиться. Главное, чтобы они умели учиться самостоятельно. И самостоятельно мыслить, но это — сверхзадача, реализующаяся в очень немногих.

Точно так же и свою задачу мы видим не в том, чтобы напичкать читателя неким набором истин. Заметим при этом, что мы не можем даже думать осветить все аспекты Истины, ибо ее нельзя достичь иначе, как *только самому* (конечно же, с помощью Духа Святого). И естественно, наша задача не в том, чтобы составить краткий словарь символического или, еще хуже, «эзотерического» языка. Наша задача даже не в том, чтобы дать практические советы относительно того, как можно самостоятельно познавать Истину. Как же научиться познавать Истину без внешней помощи? Неужели мы можем этому научить?!

Ведь мы имеем дело с очень тонким предметом. Оказывается, что путь познания Истины — вовсе не всегда путь интеллектуального постижения. Чистый разум не приемлет Бога. Оказывается, что Аристотелева логика совсем не всегда работает. Не всегда уместен аподиктический* дискурс*, не всегда применимы диалектические* методы, не всегда убедительна риторика*.

Впрочем, один совет, хотя многим он не покажется новым, мы все же дать можем. Правда, совет этот — негативного свойства. Впрочем, это и не совет вовсе, а простое рассуждение. Ведь мы говорим о необходимости познавать (истину) самостоятельно и при этом как синоним употребляем выражение «без внешней помощи». На самом деле внешнее воздействие даже в самой пассивной своей форме является злейшим врагом самостоятельного познания. А пассивные формы воздействия плоти на свое мышление человек вовсе не замечает, относя их к себе.

В этом смысле самая главная помеха тому, чтоб человек мог именоваться мыслителем, — это он сам. То, что мешает человеку стать мыслителем, прежде всего заключается в связанности привычными представлениями, или, говоря проще, шорами и шаблонами мышления. То, что действительно делает человека человеком разумным (*homo sapiens*), может проявиться только тогда, когда он находит возможность мыслить вне привычных рамок. Причем касается это далеко не только вещей божественных. Сказанное справедливо и для мудрости века сего. Например, что? Вечный двигатель *абсолютно* невозможен, или только в привычных человеку условиях?!

О многом человек не задумывается просто потому, что считает это невозможным. (Мы употребили глагол «считать», но правильнее было бы и здесь говорить о вере.) При таком положении вещей невозможно давать какие-либо советы, ибо какие же советы, если человек не задумывается, — причины тут уже не важны. Гораздо хуже, когда человек задумывается, но то, что приходит ему в голову, кажется ему *сталь* необычным, что он тут же отбрасывает это как невозможное. Между тем, странное — вовсе не значит невозможное. В этом-то и заключается наше рассуждение, или, если хотите, совет: не отбрасывать кажущееся невозможным — лучше отбросить шоры привычек, исподволь регулирующих, как можно мыслить, а как мыслить нельзя.

Мы, конечно, не имеем в виду, чтобы любую невозможную мысль тут же считать истиной, а дичь путать со странностью, однако сейчас не место говорить об этом вновь и не время давать дополнительные объяснения по этому поводу.

Мы не оговорились, сказав что никого нельзя насильно сделать лучше. Собственно слово «наильно» здесь не совсем подходит. Ни одна книга в истории человечества не могла сделать человека лучше. И Библия в том числе! Более того, Библия являлась источником самых опасных и устойчивых заблуждений. Рискнем даже утверждать, что ни одна книга не явилась источником большего числа соблазнов, нежели Библия. И от совершения тайны беззакония никакая

Библия не могла уберечь. Библия о ней только предостерегла, да и то почти никто не увидел этого. (А из тех, кто увидел, почти никто ничего не понял.)

Вернемся к той мысли, что сколь бы ни было точно и строго высказывание, все равно кто-то поймет его неправильно. Почему так происходит? Потому что человек привык воспринимать мысли другого только посредством слов говорящего. Иными словами, посредником для общения людей является слово. Но не Слово, не Логос.

Мы думаем, что читатель нас поймет, если мы скажем, что не всякий набор звуков и не всякая последовательность букв являет собой слово. Точно также не всякое высказывание, даже изложенное на бумаге, содержит мысль. Но сейчас мы говорим о другом. Главным в том, что мы хотим сказать, является, что человек общается с себе подобными на языке Вавилонского смещения. Имея перед глазами пример Вавилона, мы уже не можем ставить знак равенства между словом (ῥῆμα — *рэма*) и Словом — Логосом (Λόγος). И процесс смещения не кончился, он продолжает развиваться внутри каждого из человеческих языков. Поэтому-то изъяснения древних о Царствии Божием уже сами нуждаются в изъяснениях, дабы быть понятыми (современным) человеком.

В итоге получается — мы выскажем весьма *странную* в наших устах мысль, — что учение вообще невозможно при помощи *слова* (с маленькой буквы — ῥῆμα — *рэма*). Эта формулировка более свойственна дао и цзэну, но не торопитесь цепляться к нашим *словам*. Постарайтесь лучше понять, что мы хотели этим сказать. Вообще-то не будет ничего худого, если читатель при переходе к новому мышлению возьмет себе за правило *воспринимать не то, что говорит собеседник, а то, что он хотел сказать*, но не имел права или не смог сказать по тем или иным причинам. А хотели мы сказать, что учение гораздо легче, если не вообще единственно, достигается не при помощи человеческого *слова*, но посредством Божественного Слова. К *словам* (с маленькой буквы — ῥῆμα — *рэма*) всегда можно прицепиться. Со Словом же (Λόγος) не поспоришь. Поэтому единственное, что мы можем себе позволить, — это надеяться, что наше слово заставит человека почувствовать в себе Нечто, посредством чего лишь только и возможно понимание, отличающее человека от дрессированного скота, как бы понимающего команды.

Если при вникании в различные учения читатель научится воспринимать не слова, но высказанную идею (разумеется, если таковая имеется), тогда есть надежда и на то, что наш читатель научится (не от нас, конечно) воспринимать не внешнюю форму сказанного Духом через посредство человеческих языков, но истинный смысл сказанного Духом.

А если он от нас ничему не научится, то нам ничего не останется, как сокрушаться о нашем несовершенстве в слове. Однако «не думаете ли еще, что мы оправдываемся перед вами?» (2 Кор 12:19)... Конечно, «Прежде всего, не следует никого печалить, ни большого, ни малого, ни неверующего, ни верующего...» (Филипп 118). Потому мы и сокрушаемся. Но — не оправдываемся, ибо одно дело — опечалить большого или малого по плоти, и совсем другое — огорчить ради Бога. И кто обрадует нас, как не тот, кто ради Бога опечален нами (ср. 2 Кор 2:2). А затем... но мы лучше продолжим прерванную мысль: «...затем — дать *покой* тем, кто покоится в добре» (Филипп 118).

А в заключение приведем слова из Филиппа полностью:

Прежде всего, не следует никого печалить, ни большого, ни малого, ни неверующего, ни верующего, затем — дать *покой* тем, кто покоится в добре. Есть некоторые, чье преимущество — давать покой тому, кто хорош. Тот, кто делает доброе, не может дать покой таковым, ибо он приходит *не по своей воле*. Не может он и печалить, причем он не заставляет, чтобы они мучились. Но тот, кто становится хорош, порой печалит их. Тот, кто обладает качеством [совершенных] дает радость доброму. *Но некоторые из-за этого печалятся зло.*